СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ
ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
1709
ТОМ 5

Сергей Князев

Полтавская битва 1709 - Том 5

«Автор»
2026

Князев С.

Полтавская битва 1709 - Том 5 / С. Князев — «Автор», 2026

Я погиб, вытаскивая своего бойца из-под огня, и очнулся под Полтавой. 1709 год. Теперь я капрал Андрей Рябов, которого собственные солдаты считают трусом. Впереди шведская пехота, в руках непривычная фузея, за плечами опыт современной войны. Я заставлю этот опыт работать: удержу строй, сберегу людей и поведу их вперёд. От недостроенного редута до решающей атаки вместе с царём Петром Первым. Нам предстоит разгромить шведов и вырвать победу, которая изменит судьбу России.

© Князев С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 16
Глава 3 26
Глава 4 33
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Сергей Князев
Полтавская битва 1709 - Том 5

Глава 1

Утро пахло сыростью и гнилым сеном. Позднелетняя прохлада легла на лагерь ровным слоем, придавив остатки вчерашней славы к земле. Я сидел у потухшего костра, разбирая трофейные постромки. Правая кисть висела плетью — обожжённая ладонь не держала ни узла, ни веса, — но я всё равно водил левой рукой по кожаным петлям, проверяя прочность стежков. Это было нужно телу. Нужно, чтобы оно помнило: мы живы, мы победили, теперь можно сидеть.

В руке лежала берестяная рабочая копия расписки. Подпись заказчика — чужая, неразборчивая; ни имени, ни литеры из неё не извлекли. Чья рука писала эти бумаги, ещё предстояло узнать, но угол сожжённой карты и пороховник с меткой «эль-аш» тянули след за межу, к большой воде. Я достал нож с монограммой «А. Р.» и провёл лезвием по обратной стороне бересты. Кривая засечка, понятная только мне. Не подпись. Клеймо охотника. Приказ Клокова «ищи за межой» звучал здесь этим жестом.

Федька подошёл тихо. Он хромал чуть заметнее прежнего: старая беда с ногой ныла после долгого дня. Мальчишка не спросил разрешения сесть. Опустился на корточки напротив, глядел на бересту и беззвучно шевелил губами, повторяя то, что читал вслух на пиру.

— Оберстер шпион... Рябов, — выдохнул он. Главный разведчик.

Но чья рука стояла под распиской, мы не знали, и знать не смели.

Я убрал бересту в подсумок Саввы. Ответить мальчишке нечем. Я положил ему на плечо руку — тяжёлую, левую. Федька вздрогнул, но не отшатнулся. Мы сидели молча, пока тишину лагеря не разорвал цокот подков.

Поручик Белореццев въехал прямо на плац, не дожидаясь доклада дежурного. Конь взмылился, пенная слюна капала с поводьев. Офицер связи штаба армии спрыгнул наземь, бросил поводья денщику и направился к нашему костру. Лицо у него было серое от пыли и недосыпа, глаза горели сухим канцелярским огнём.

— Унтер Рябов? — спросил он, хотя видел приметы: перевязь, левый хват, тень на боку.

— Так точно, господин поручик.

Выслушав ответ, он повернулся к шатру. Клоков вышел нам навстречу, и мы перешли от костра к столу у входа. Сержант положил передо мной папку, поручик раскрыл её. Бумаги легли передо мной стопкой.

— Штаб армии требует головной поиск к переправам через Ворсклу, — сказал поручик сухо, словно диктовал завещание. — След приёмщика ведёт туда. Инструкцию читаешь?

Я не взял бумагу. Она была мелкая, исписанная торопливым почерком. Движение колонной по тракту. Дозор вперёд. Огневой удар при обнаружении врага. Срок исполнения — четверо суток.

— По тракту ходят те, кого ждут, — произнёс я ровно. Мой голос не дрогнул, хотя внутри натянулась струна. — Если мы пойдём колонной, нас встретит либо ватага, либо регулярный полк. И там, и там нас съедят — до самого берега не доберёмся.

Белореццев покраснел. Вены на шее вздулись.

— Вы отказываетесь исполнять инструкцию?

— Я предлагаю результат, — перебил я. — Карта будет с натуры. Не со слухов. Но я пойду ночью. Вне тракта. Тишиной.

Поручик, по всему видать, хотел кричать: он привык к офицерам, которые спорят громко, махая шапками. Здесь спорили тихо, и от этого, должно быть, становилось страшно. Клоков молчал. Сержант смотрел на свои руки, лежащие на поясе. Он дал слово «ищи за межой», но не давал права менять устав. Я чувствовал этот момент. Воздух вокруг стола стал вязким.

Я сделал шаг вперёд, нарушая дистанцию. Левая легла на край стола, прижимая бумагу.

— Господин поручик. Вы хотите карту или хотите соблюсти форму?

Вопрос я поставил так, что любой ответ выдавал его слабость. Белореццев замер. Он посмотрел на Клокова, потом на меня. Его лицо окаменело.

— Четверо суток, — процедил он сквозь зубы. — Сорвёте срок — партию расформируют по ротам. Лично доложу генералу.

— Принято, — сказал я. — Но метод мой.

Это была победа. Маленькая, грязная, но победа.

Белореццев хлопнул папкой.

— Ваш метод — баловство вольноначальников.

Тогда Клоков сделал то, чего не делал никогда. Он снял фуражку и положил её на стол рядом с картой магазинов, которую я развернул поверх инструкции.

— Поручик, — сказал сержант, глядя на коня поручика. — Этот человек взял станы и писаря. Он водил людей под воду. Если он скажет «тихо», значит, будет тихо. Я отвечаю за его людей своей головой. Расформирование коснётся меня тоже.

Тишина повисла плотная, как туман над рекой. Белореццев смотрел на фуражку Клокова, потом на карту. Должно быть, он уже видел работу, которая шла.

— Четверо суток, — повторил он другим тоном. Усталым. Деловым. — Жду язык и карту.

Он забрал свою инструкцию, развернулся и ушёл к коню, не оглянувшись.

Я выдохнул. Левая рука дрожала от напряжения. Я сунул её в карман, пряча слабость.

Пряха Силантий подошёл сзади бесшумно. Старик не спрашивал ни о чём. Он стоял рядом, пока конь Белореццева не скрылся за валом.

— Четыре ночи, — ворчал старик, глядя на запад. — Много. Мало. Посмотрим.

Лагерь гудел. Новость о заказе расходилась быстрее ветра. Партия начала сборы. Это был вход в стихию, которую многие из них боялись больше шведских пуль.

Я лично проверял снаряжение. Тростниковые трубки для дыхания были длинными, сухими, с трещинами, замазанными жиром. Плащ-палатки новые, промасленные. Жир для рук и лица лежал в котомке Кузьмы. Сапоги проверены на швы, каждый стежок осмотрен.

Пряха собрал десяток у костра. Он учил их дышать.

— Вода злее шведа, — говорил старик, макая тростинку в котелок с водой. — Шведа можно обмануть криком. Воду нельзя. Она входит в тебя, если ты откроешь рот.

Гордей закашлялся, выплёвывая мокроту. Пряха смотрел на него строго, без злобы, но с железной уверенностью.

— Ты сегодня не идёшь вниз. Ты будешь на берегу. Держать плащ-палатку.

Гордей опустил голову. Должно быть, обида была, но страх перед водой был сильнее.

Кузьма сидел рядом с Ваткулой, прикомандированным на этот выход. Он показывал ему, как завязывать узлы на верёвке одной рукой.

— Командир сказал: левая несёт всё, — бурчал Кузьма. — Правая — балласт. Привыкай.

Ваткула кивнул, бледный. Он слышал истории про мочажину и про таран дрогами. Парень, судя по бледному лицу, и не знал, что такое лежать в воде четыре часа.

Я подошёл к ним. Узла не касался. Положил руку на плечо Ваткуле.

— Ты выдержишь, — сказал я. Это не вопрос. Я уже решил это за парня.

Солнце село. Лагерь затих. Костры прикрыты дерном.

Колонну замыкал, шёл последним — следил, чтобы никто не оставил следа.

Оська бежал впереди, на тракте, как глаза. Он свистнул один раз — коротко. Дорога чиста.

Партия таяла в камышах. Звуки шагов заменялись шелестом стеблей. Никакого барабана. Никаких криков. Только скрип сапог и шуршание сухой травы.

Я оглянулся последний раз. Лагерь исчез. Остались только дымки костров, которые вот-вот погаснут.

Впереди — большая вода. Ворскла.

Мы уходили в ночь. Срок пошёл.

День второй начался с глины. Холодной, вязкой, липнущей к сапогам и пальцам, как живое тесто. Мы лежали в ивняке на берегу Ворсклы, в трёх верстах от шведских биваков, где течение шумело гулко, равнодушно и страшно. Я не спал. Кузьма тоже. Мы считали тени от свай моста, падающие на воду, потому что человек может присесть, скрыться за бревном, а тень никуда не денется: она длинная, косая, ровная, как линейка бога.

Кузьма держал перед собой кусок сырой земли и палку. Он чертил линии и стирал их ребром ладони, если ошибался. Лицо у него было обветрено, глаза прищурены так, что морщинки у уголков стали глубокими бороздами.

— Там их много, дядька, — прошептал он, не поднимая головы. — Идут толпой. Не разберёшь.

— Толпа делится на группы, — сказал я глухо, будто из-под воды. — Группа — это смена. Смотри на тот крайний ствол, что торчит из-за сваи. Кто его убирает?

Кузьма следил. Минута тянулась долго, как жвачка. Свет ещё цеплялся за верхушки камыша, ровный, дневной. Вдруг он вздрогнул.

— Вон тот, в синем. Он стоит. Другой подошёл, забрал ружьё, повёл назад. Первый остался без ствола. Значит, уходит отдыхать.

— Запиши время, — приказал я. — По солнцу над той ольхой прикинем первую смену, дальше сверим счёт по фонарю на мосту.

Он кивнул. Палка чиркнула по глине, оставляя влажный рубец. Я смотрел на его руки. Раньше они дрожали от страха или холода. Теперь они были твердыми, как камень. Дисциплина наблюдения вошла в тело. Мы учились дышать в одном ритме с врагом, чтобы потом этот ритм сломать.

Вечером мы вернулись на островок. Пряха уже ждал нас. Старик сидел на корточках у костра, который нельзя было разводить открыто, и грел ладони над тлеющими угольками, прикрытыми дерном.

— Ну? — спросил он, даже не взглянув на меня.

— Два поста на мосту, — доложил я. — Один на сходнях, второй у фурштадта. Караул сменяется каждые четыре часа; по сигналам фонаря на мосту отсчитали две смены, ночная выходит к полуночи.

Пряха усмехнулся. Морщины на его лице собрались в сеть, но в глазах плясали искры.

— Часы их — фонарь. Хорошо, когда порядок врага виден с воды.

Мы отошли в заводь. Вода здесь была чёрной, стоячей, тихой. Никакого течения, только лёгкое дыхание болота. Пряха поставил добровольцев в круг. Нас было десять. Гордей кузнец, здоровый и лохматый, стоял, скрестив руки на груди, и фыркал. Селивёр, наш следовой, переминался с ноги на ногу. Новички Ваткула и Юхан — прикомандированные на это испытание, ещё не принятые в партию окончательно — бледнели всё сильнее.

— Кто боится — может выйти, — произнёс старик, глядя на чёрную гладь.

Никто не двинулся. Страх сидел в каждом, и молчание было нашей первой победой.

— Трубка в зубы, — командовал Пряха, доставая из сумки длинные стебли тростника, замазанные жиром. — Руки вдоль тела. Голова вниз. Считать до десяти. Не всплывать, пока не досчитаешь до десяти.

Пряха сначала проверил Гордея: заставил подышать ему в лицо, послушал грудь, послушал кашель.

— Хрипота прошла. Иди, — разрешил он. — Вниз, но недолго.

Гордей шагнул первым. Он тяжело дышал, шумно выдыхая в темноту. Вода ударила холодом сразу, без предупреждения. Он нырнул. Селивёр стоял на берегу со страховым шестом и плащ-палаткой, готовый рвануть в воду при первом же пузыре не в том месте. Секунды тянулись медленно, как густое масло. Пряха считал вслух, монотонно, гипнотически.

— Раз... два... три...

Гордей вынырнул, захлёбываясь. Его лицо было красным, злой глаз набух. Он выплюнул воду и грязь.

— Плохо, — констатировал Пряха. — Ты тратил воздух на страх. В следующий раз трать его на счёт.

Страховку Селивёр передал Ваткуле и сам вошёл в воду. Он нырял чисто, как зверь. Всплыл спокойно, отфыркался, кивнул сам себе.

— Вот, — кивнул Пряха. — Как зверь.

Я смотрел на них. Левая рука сжалась в кулак. Правая висела плетью, бесполезная, мёртвая. Мне нужно было знать дно — понимать, куда вести людей. Если я сам не пойму глубину, людей вести не смогу.

— Я иду первым, — сказал я.

Пряха удивлённо посмотрел.

— Командир, тебе рано. Тебе нужно быть свежим.

— Мне нужно знать дно, — отрезал я. — Иначе я не смогу командовать в темноте.

Я взял тростинку. Вода сомкнулась над головой. Холод бил в рёбра, как молот. Он проникал сквозь одежду мгновенно, останавливал кровь, сковывал мышцы. Я держался за сваю левой рукой. Пальцы скользили по слизи и тине. Правую руку я прижал к рёбрам, чтобы не мешала балансу, использовал её вес как противовес. Тело должно было работать одним крылом.

Счёт. Один. Два. Три. Боль в боку от старого удара усилилась. Она пульсировала в такт сердцу. Четыре. Пять. Шесть. Воздух горел в лёгких. Семь. Восемь. Девять. Десять.

Я всплыл. Тяжело. Вода стекала с лица, попадая в рот. Я отфыркался, закашлялся, но удержался.

— Теперь я знаю глубину, — хрипло сказал я.

Пряха молча положил мне на плечо сухую рубаху. Это было признание: ты прошёл экзамен стихии.

День третий начался с репетиции. Мы сделали макет сходней из связанных жердей на берегу, в тени поваленного дерева. Селивёр играл роль караульного. Он стоял, имитируя сонливость, прислонившись спиной к опоре.

Кузьма и Гордей крались. Сапоги чавкали в грязи.

— Стоп, — тихо сказал я. — Кузьма, ты топнул.

Кузьма смущённо посмотрел под ноги. Сапог действительно издал предательский звук.

— Тише, — шептал я, подходя ближе. — Иди на носках. Как по стеклу. Почувствуй, где сухо, а где жижа.

Они начали заново. Селивёр повернулся. Кузьма прыгнул ему на спину, Гордей перехватил ноги.

— Семь счётов, — зафиксировал я. — Медленно. Нужно пять.

Они попробовали снова. Пять счётов. Четыре. На третьей попытке Кузьма чуть не упал, но удержал равновесие.

Я правил рисунок под свою левую руку. План вышел простым: удар в диафрагму, блокировка рта. Классический захват за горло требовал двух рук. У меня была одна рабочая.

— Удар делаем вразнобой: он отвлекает, я накрываю рот, — объяснял я Селивёру, который теперь изображал жертву, — мне нужно держать его голову. Одной рукой. Поэтому хват должен быть таким.

Я показал, как ложилось запястье. Это была новая наука. Наука двух счётов. На первом счёте Кузьма бил ребром ладони в живот — он сгибал человека, сбивал ему дыхание и прихватывал корпус, чтобы тот не вывернулся. Открывшийся рот на втором счёте закрывал я: левая ладонь ложилась на лицо и блокировала крик весом предплечья. Правая ладонь не работала вовсе, поэтому удар был не мой.

Селивёр сопротивлялся. Он дёргался, пытаясь кричать. Я прижал его лицо к мокрой траве.

— Долго, — заметил Пряха, наблюдавший со стороны. — Пока ты тянешь, он может вскрикнуть.

Я хмурился. Пробовал снова. Порядок отработали до автоматизма: Кузьма бил ребром ладони в живот, на его счёт я накрывал рот Селивёра левой ладонью — пальцы несжатые, крик блокировался весом предплечья.

— Тише, — прошептал я.

Селивёр затих. Только глаза вытаращены.

— Ещё раз, — попросил Пряха. — И быстрее. Те же пять счётов.

Пять раз. Шесть. На седьмом получилось. Селивёр лежал связанным, рот оставался закрыт моей ладонью.

— Ладонь надёжнее тряпки, — заметил я, вытирая её о штаны. — Тряпку найдут и поймут. Пустая рука — нет.

Кузьма кивнул. Раньше я действовал двумя руками, уверенно. Теперь я действовал одной, но точнее, потому что у меня не было выбора.

Перед самым закатом пришло известие с тракта. Оська возвращался быстро, бежал низко пригнувшись, как заяц. Лицо у него было белым, губы посинели от ветра.

— Разъезд, — сказал он, упав на колени передо мной. — Шведский. Прошёл по нашему следу.

Я замер. Сердце пропустило удар.

— Где?

— В двух верстах ниже. Они искали нас. Или просто патрулировали. Но они знают, что тут кто-то был. Следы свежие. Подковы тяжёлые.

Пряха выругался глухо, почти беззвучно.

— Берег тёплый. За нами следят.

Я посмотрел на реку. Шумела. Гулко. Страшно. Мой план идти ниже по течению, где берег пологий, умер. Если там разъезд, то и берег под наблюдением. Любая ошибка — обнаружение.

— Меняем место захода, — решил я. Голос мой звучал ровно, хотя внутри всё сжалось. — Выше по течению. Против холодной струи.

— Там глубже, — предупредил Кузьма. — И течение сильнее. Ноги будут мёрзнуть быстрее.

— Зато нас не ждут, — парировал я. — Они ждут внизу, на удобном месте. Мы ударим туда, где неудобно нам, но неожиданно им.

Пряха одобряюще кивнул.

— Скользко у берега? — спросил он.

— Есть, — ответил Оська. — Мелкий камешник у берега. Скользко.

— Тогда идём цепью. Держимся за пояс товарища. Не отпускаем. Если сорвёт — второй держит. Третий страхует.

Федька, который сидел в стороне, вдруг подал голос. Он был бледен, но глаза горели.

— Я слышал их разговор. Сквозь шум воды. Один сказал другому: «Смена запоздала».

Я замер.

— Что значит «запоздала»?

— Они говорили про караул на мосту. Что он не сменился вовремя. Значит, там напряжение. Они нервничают.

Значит, караул взвинчен. Любая искра вызовет залп. Тревогу можно превратить в ошибку.

— Все готовы? — спросил я.

— Почти, — сказал Кузьма.

— Будет готово к закату.

Наступил вечер. Партия делилась. Брать языка пойдём втроём: я, Кузьма и Гордей. Федька остался у ольхи. Его задача — слушать большой берег. Голос-опознание. Он знал шведскую приписку наизусть. Если услышит ту фразу — подаст знак.

Оська остался на берегу как запасной след и глаза. Он должен будет увести преследование в другую сторону.

Я надел мокрую рубаху. Она липла к телу, холодная и тяжёлая. Я посмотрел на реку. Она была неспокойна. Волны били о сваи моста, которые виднелись далеко, в темноте.

— Мы идём, — сказал я.

Вода приняла нас без всплеска.

Вода не просто холодная. Она живая, и она голодная. Она жрёт тепло из тела по кусочкам, пока ты держишь зубы стиснутыми и не шевелишься. Мы стояли по грудь в мутной, чёрной жиже, прижавшись спинами к скользким брёвнам свай. Над головой гудел мост: скрип досок, тяжёлый шаг сапог, звон металла о металл. Каждый звук падал вниз, как камень в колодец, и эхом бил меня по барабанным перепонкам.

Я считал чужие вдохи. Кузьма дышал рядом, справа, коротко и часто, выпуская пузыри через тростниковую трубку. Гордей держался слева, чуть ниже по течению, он почти не дышал, только раздувались ноздри. Я чувствовал, как течение тянет нас за ноги, проверяя на прочность, ища щель, куда можно влезть и вывернуть суставы. Правая была мёртвым грузом, не своя. Левая сжимала опору так, что пальцы побелели под слоем слизи. Одна рука несла всё тело, весь вес. Остальное было балластом.

— Тише, — прошептал я, едва поднимая губы над водой. Кузьма понял. Он замер. Пузыри прекратились.

Наверху сменилась стража. Шаги стали реже, тяжелее. Кто-то курил — дым потянулся вниз, смешиваясь с туманом над водой, едкий, табачный запах, который мгновенно выдавал присутствие человека там, где должно быть пусто. Я поднял голову, насколько позволяла глубина. В темноте виднелись очертания сходней — верёвочные лестницы, спущенные для лодок. Они висели над нами, качаясь от малейшего движения воды.

Караул на мосту состоял из двух человек. Один ходил вдоль перил, второй сидел у фурштадтского склада, грея руки над тлеющим угольком. Фурштадт — это склад боеприпасов. Там хранились пороховые мешки, ядра, запасные стволы. И тот, кто там сидел, знал порядок смены лучше всех остальных. Нужен был фельдфебель фурштадта — человек, который подписывал ведомости выдачи пороха и знал, сколько ртов кормит этот мост.

Я посмотрел на Кузьму. Тот смотрел на сходни. Я кивнул. Пальцем показал направление: вверх, к узлам. Кузьма медленно, сантиметр за сантиметром, тянул нож вверх. Лезвие было смазано жиром, чтобы не блеснуть. Оно коснулось мокрой пеньковой жилы. Режущий звук исчез под шумом реки. Кузьма резал не до конца, ослаблял узел, превращая прочную опору в ловушку.

Гордей толкнул ногой плавающий кусок ветки. Ветка ударила в сходню. Тихий, предательский скрип каната над водой.

Наверху голоса замерли.

— Вад эр дет? — спросил один. Голос хриплый, сонный. Шведская речь, сухая, как щелчок кремня.

— Рыба, наверное, — ответил другой. Или ветка. Там, внизу, всегда что-то шуршит.

Часовой у перил наклонился, высматривая в темноте источник шума. Его тень упала на воду, длинная, искажённая. Он держал фузею наискось, готовый стрелять, если увидит врага. Но сверху, рассчитывал я, различить можно было только муть и качающуюся ветку. Складской человек у уголька зашуршал, поднимаясь, — было слышно, как он отряхивает штаны и ворчит: идти смотреть некому, кроме него. Постовой у перил остался на месте, только отвернулся к нему лицом. Тот, кто поднялся и отряхивался, и был нужен: фельдфебель сам шёл к нам.

Кузьма закончил подрезать жилу. Сходня повисла на одном волоске. Фельдфебель поставил ногу на доску и взялся за скрипучий канат. Я почувствовал момент телом. Мышцы левой ноги напряглись, готовые к прыжку.

Сверху раздался крик. Злой. Пеньковая жила лопнула с сухим треском под его ладонью. Тело шведа метнулось вниз, к воде.

Решающий ход был мой.

Он рухнул в воду, и я ушёл за ним следом, вцепившись левой в ворот кафтана. Секунду мы провалились в чёрную муть, пузыри рванулись вверх мимо моего лица. Я упёрся сапогом в сваю и рванул шведа за воротник — и мы выкатились на поверхность, под самую сходню, лицом к лицу. Гордей был рядом сразу: он принял фельдфебеля поперёк корпуса, прижимая к себе, не давая ни уйти под воду, ни вырваться. Всплеск съела река и гул моста — наверху никто не обернулся.

Рот шведа открылся для крика — и Кузьма, подтянувшийся по опоре, успел первым: его широкая ладонь легла поверх рта, а ноздри остались свободны и брали воздух. Свист в носу, рваное хриплое дыхание — под грохот воды и скрип досок это была просто возня у сваи. Я бил коленом в живот на первом счёте, на втором вжимал его лицо плечом вниз, вдавливая в корпус Гордея. Фельдфебель дёргался сильно, по-скотски упрямо, но три тела держали его всем весом, не оставляя ни хода.

Я вытянул из-за пояса вожжи. Петля, стянуть запястья за спиной — левой, одной, медленно, сквозь матерящуюся дрожь чужих мышц. Кузьма не убирал ладонь, пока я не затянул последний узел. Швед был жив — хрипел, трясся всем телом — но силы ушли из него: измождённый, мокрый, обездвиженный, он стал тюком, который надо доставить на берег.

Мы вынесли его на берег, туда, где ждал Селивёр с расстеленной плащ-палаткой. Тело шведа капало, оставляя на ткани тёмные пятна. Я лежал рядом, задыхаясь, выплёвывая воду и слизь. Левая рука дрожала. Не от холода. От напряжения. Бой длился минуту, но стоил нескольких часов жизни.

Вдруг — свисток. Резкий, пронзительный, режущий тишину.

Тревогу поднял постовой, оставшийся наверху: свисток, потом фонарь над настилом, ослепительно белый в черноте ночи. Голоса наверху стали громче, быстрее.

— Ларм! Вакт! — кричали они. Тревога. Караул!

Берег оживал. Шаги участились. Кто-то бежал по гати. Мы не могли взять язык и уйти тихо. Нас искали. Нас видели. Если мы останемся здесь, нас срежут залпом из фузей. Если побежим по суше — конница добьёт.

— В воду! — скомандовал я шёпотом. Голос сорвался, хриплый от воды. — Ниже по течению. С головой не нырять: язык должен дышать.

Кузьма уложил обессилевшего фельдфебеля на себя набоком, чтобы грудь дышала свободно. Я подхватил его под колени левой рукой, помогая поднять из грязи. Селивёр натянул плащ-палатку поверх языка, пряча его от случайных взглядов сверху; ткань прикрыла корпус, оставив лицо открытым, чтобы пленник дышал свободно. Гордей уже был в воде, ведя нас за собой, как лоцман.

Мы ушли обратно, не ныряя с головой. Холод теперь жал. Он давил на грудную клетку, лишая воздуха. Я плыл на спине, держа лицо над поверхностью только носом и глазами, остальное скрывала темнота. Течение било в правый бок, в старую травму. Боль пульсировала в такт сердцу, отдаваясь в голове гулом.

На берегу, позади, слышались выстрелы. Холостые? Или нет? Пули шлёпали по воде, создавая столбики брызг вокруг нас. Целились по месту, где мы скрылись. По примятой траве. По сломанной сходне.

Я остановился. В голове вспыхнула идея, простая и жестокая. Нужно оставить им след. Настоящий. Чтобы они думали, что мы уходили пешком. Чтобы они потратили время на поиски того, кого здесь нет.

Глава 2

— Сапог, — прохрипел я.

Кузьма повернул голову.

— Что?

— Снимай. Бросай на сушу. В ивняк. Пусть идут по сухому следу.

Кузьма не стал спорить. Он скинул правый сапог. Трофейный, широкий, набитый травой. Он швырнул его на берег, в примятую землю, где недавно стоял караул. Сапог упал с глухим стуком. Идеальная примета. Человек, который сбрасывает обувь, чтобы бежать быстрее. Человек, который оставляет след.

Мы ушли в глубину. Течение понесло нас дальше, под мост, где тьма становилась абсолютной. Над нами снова гремели шаги, теперь хаотичные, взволнованные. Фонари светили в воду, выхватывая волны, пену, пустоту. Пусть видят сапог. Пусть видят примятую траву. Пусть решат, что русские ушли через гать, оставив груз.

Так я рассчитывал.

В заводях, в трёх верстах от моста, мы выдохнули. Выбрались на мелководье, где дно было илистым, но безопасным. Пряха уже ждал нас там, закутанный в мокрую дерюгу, с костёрком, прикрытым дерном. Старик молча положил нам под ноги сухие ветки.

Фельдфебель приходил в себя. Он кашлял, харкая водой, и смотрел на нас расширенными от ужаса глазами. Смотрел он так, будто понял, что произошло: его взяли не в бою. Как рыбу. В темноте. В холоде. Без звука.

Я не стал его пытать. Пытка требует времени и рук, которых у меня нет. Я достал из кармана бересту и прут. Пока Кузьма грел пленного, растирая ему руки, я чертил карту — прямо в момент отхода. Память свежая, как кровь.

Линия моста. Две сваи в центре. Завязка сходней. Место караула у фурштадта. Расположение пикета выше по течению. Где горел фонарь. Где звучал свисток. Сколько шагов между постами. Я рисовал быстро, ломаными линиями, путаясь в цифрах, но фиксируя суть. Мост на сваях. Вторая переправа — баркас, там же порох. Бивак — за лесом, дым столбом. Ориентир — груша на холме.

Каждая линия ложилась на бумагу, и каждая линия отзывалась болью в боку. Холод проникал внутрь, оседал в лёгких, но работа грела лучше огня. Я должен был сдать это штабу. Армия ждёт карты. Армия ждёт ответа.

Федька, который остался на берегу слушать, подбежал к нам, запыхавшийся, с мокрыми штанами. Лицо его было белым.

— Дядя Андрей, — сказал он одними губами. — С большого берега. Голос. Короткая фраза. По-шведски.

Я поднял голову от бересты.

— Что сказали?

Федька закрыл глаза, вспоминая звук, интонацию, ритм.

— «Хан хар флюттат ваттнет». Он ушёл водой.

Тишина повисла над заводью. Только вода шуршала в камышах.

Это не голос часового. Часовые говорят «Тревога», «Стой», «Стреляй». Эта фраза означала понимание ситуации — приказ или наблюдение за результатом. Кто-то знает нашу науку. Кто-то понимает, как мы работаем.

Пряха усмехнулся уголками рта, но глаза его остались серьёзными.

— Фахтер, — сказал он. — Или тот, кто учится у него.

Я посмотрел на запад, туда, где темнота скрывала шведские огни. Хьельм? Мысль пришла как догадка, но вцепилась крепко: он здесь. Он командует ватагой и стоит на той же воде, что и мы. Он видит наши шаги, даже когда мы их стираем. Он читает наше отсутствие, как текст.

Это меняло всё. Мы столкнулись с противником, который силён численно и головой нам ровня. Он не будет ждать засады. Он придёт сам. Он будет охотиться на нас, потому что узнал вкус нашей крови.

Я вписал последнюю строку в карту: «Пикетный офицер близко. Враг знает метод». Потом сложил бересту и сунул за пазуху, к рублю.

— Домой, — сказал я.

Кузьма надел второй сапог, который дал ему Гордей из своего запаса. Сапог велик, но жить можно. Фельдфебеля связали вожжами и положили на носилки из веток. Партия двинулась в путь. Медленно. Тяжело. Каждый шаг отзывался в дрожащих мышцах и замёрзших суставах.

Но мы шли. Живые. С языком. С картой. И с новым знанием: враг больше не безликая стена. У него есть имя, лицо и голос, который мы услышали сквозь шум реки. И этот голос произносил моё дело вслух.

Штабная палатка пахла потом, сырой землёй и свежими чернилами. Здесь не было места для тишины болота или скрипа моста; здесь воздух был густым от чужих решений, от запахов потных подмышек офицеров, от дыма свечей, которые горели в восковых фонарях, защищённых от сквозняка кожаными колпачками. Я стоял у стола, левой рукой опираясь на край бере-

стяного чертежа, правая висела плетью вдоль стола. Боль в ключице ныла ровно, как тупой зуб, но я привык её игнорировать. Привычка — это тоже оружие.

Передо мной сидел фельдфебель фурштадта. Его звали Эрик Лунд. Его держали ремни; платок его собственный, стянутый сзади на узел, для допроса уже спустили с рта — он висел на шее, и губы были свободны. Глаза Лунда были красными от бессонницы и страха, но держался он ровно. Уставной солдат. Такой не сломается от удара. Такой сломается только тогда, когда поймёт, что молчать стало опаснее, чем говорить.

Белореццев ходил по палатке, постукивая пальцем по столу.

— Допросить с пристрастием, — бросил он, даже не глядя на меня. — Или отправить к коменданту лагеря. Там знают, как развязывать языки шведским спецам.

Я не двинулся с места. Левая рука легла на бересту, поверх начерченных линий.

— Господин поручик, — сказал я тихо. Голос звучал хрипло после воды, но слова были четкие. — Если вы тронете его сейчас, вы потеряете карту. Молчание этого человека — часть их порядка. Порядок можно сломать знанием.

Лунд поднял глаза. В них мелькнуло удивление. Судя по лицу, он ожидал криков, угроз, боли — а услышал спокойный разбор своей жизни.

Я развернул маршрутную бирку, снятую с него ещё на берегу. Медная пластинка звякнула о дерево стола. На ней были выбиты номер роты, дата выдачи и имя капитана. Я прочитал вслух, медленно, подражая канцелярскому монотону:

— «Третий батальон лёгких войск. Выдано двенадцатого августа. Капитан Берг». Знакомо?

Лунд вздрогнул. Узнал он эти строки, видимо, лучше, чем своё лицо в зеркале: его биография, зажатая в металл.

— Ты знаешь наш порядок, — прошептал он по-русски. Акцент у него странный, славянский, будто он учился говорить здесь, а не там.

— Я знаю твою жизнь, — ответил я. Я положил рядом с биркой вторую бересту — мою карту. Линии моста, сваи, место караула, расположение фурштадта. Всё совпадало. Точка в точку. Я показал пальцем на значок переправы. — Скажи, сколько людей в биваке за лесом, и я скажу тебе, как ты умрёшь. Или выживешь. Выбор у тебя один: быть частью карты или стать точкой на ней. Для штаба разницы нет. Но для тебя есть.

Палатка замерла. Белореццев остановился посреди шага. Сержант Клоков, стоявший у полога, посмотрел на меня внимательно, оценивающе. Он не вмешивался. Он давал мне работать.

Лунд долго молчал. Потом его плечи опустились. Напряжение ушло из тела, оставив только усталость.

— Восемьдесят человек, — сказал он. Тон был сухим. — Пять фузей. Два пороховых ящика. Смена каждые четыре часа. По сигналу фонаря.

Он начал говорить сам — с первых ответов было похоже, что врать он не собирается. Карта уже была снята, и, судя по всему, своё молчание он считал бесполезным грузом. Видно было: говорить с человеком, который прочёл твою жизнь по металлу и бумаге, ему проще, чем молчать. Сверить его слова с моей картой предстояло ещё впереди.

Через час работа кипела. Плац перед штабом заливал рассветный свет. Офицеры связи, писаря, дежурные — все собрались вокруг стола, на котором лежал мой чертёж. Клоков стоял во главе, скрестив руки на груди. Лицо его было непроницаемым.

— Сличение, — объявил он.

Офицер связи взял показания Лунда, записанные на бумаге, и положил рядом с моей берестой. Строка к строке.

«Мост на сваях. Две центральные опоры.» Совпадение.

«Фурштадт ниже по течению, склад боеприпасов.» Совпадение.

«Караул две смены, четыре часа, сигнал фонаря; ночная смена около полуночи.» Совпадение — как мы видели с воды.

Вейль, адъютант генерала, подошёл ближе. Он смотрел на линии, начерченные мною дрожащей от холода рукой. Его взгляд скользил по ломаным черточкам, проверяя на фальшь. Он, по всему, искал ошибку. Любую. Хоть одну. Чтобы объявить мой чертёж удачей, случайностью.

Но ошибки не было. Моя наука работала. Тишина и вода дали результат.

— В срок, — объявил Белореццев. — Обратная дорога с языком и носилками далась тяжело — и всё же уложились.

Он протянул руку. Я пожал её. Левая кисть была крепче правой. Она никогда не подводила.

Клоков забрал карту. Теперь она была казённой собственностью. Моё имя с неё исчезло — карта отныне числилась за штабом. Но внутри палатки, пока офицеры обсуждали детали, я видел, как Клоков положил карту в отдельную папку, помеченную особым знаком. План кордона. Мой чертёж становился основой для движения тысяч людей.

Сумка Лунда лежала на полу у ног конвоира. Мы сняли её с фельдфебеля на берегу, когда вязали его вожжами. Внутри было всё, что носит с собой человек, отвечающий за склад и смены. Ключи, табак, записная книжка. И бумаги.

Оська Мокеев, мой глаз на тракте, сидел рядом, перебирая мелочь. Мальчишка вырос за эту войну. Он уже не боялся чужих вещей. Он изучал их.

— Дядя Андрей, — позвал он тихо. — Подкладка. Тут что-то есть.

Я присел на корточки. Левая рука ловко вскрыла швы. Под тонким слоем кожи лежал сложенный лист плотной бумаги. Чернила на нём были насыщенными и ровными — писали недавно и уверенной рукой.

На листе было написано по-шведски. Я не читал на этом языке свободно, но буквы разбирал.

— Лунд, — сказал я. — Прочти.

Лунд опустил глаза на лист. Пауза вышла длинной; палатка ждала. Потом он заговорил по-русски, ровно, как под присягой:

— «Русский унтер. Левая рука. Нож. Ломаный след. Опасен. Розыск приоритетный».

Федька Малой, стоявший за моей спиной, шевелил губами — запоминал каждое слово.

Тишина в палатке стала физической. Все повернулись ко мне.

Примета точна.

«Левая рука».

«Нож».

«Ломаный след» — то, как я хромаю после раны, то, как я ставлю ноги, чтобы не шуметь в воде.

Вейль улыбнулся. Едко, сухо.

— Поздравляю, унтер. Вас приняли всерьёз. Вы больше не просто командир партии. Вы цель.

Я забрал лист. Бумага сохраняла тепло чужих рук.

— Это не поздравление, господин адъютант, — сказал я, глядя ему в глаза. — Это работа. И если они описали меня так точно, значит, они смотрели. Значит, они близко.

Лагерь встречал нас баней. Партия была вымотана. Холод проник внутрь костей, осел в суставах, сделал тело тяжёлым и деревянным. Мы шли молча, ведя носилки с ранеными и связанным языком.

Полевая баня топилась на скорую руку, из глины и дерна. Внутри было темно, жарко и душно. Пар смешивался с запахом мокрой древесины и пота. Мы входили туда группами, снимая одежду, оставляя снаружи всю грязь войны.

Кузьма Шумов сидел на полке, парясь веником из можжевельника. Левый, свой, он снял у входа; правый — тот, что дал ему Гордей из запаса, — сушился рядом, велик и пропах илом.

Третий так и остался в ивняке у моста, там, где его бросили. Сейчас он грел ноги над горячей плитой, и пар шёл от ступней, как от раскалённого металла.

Пряха Силантий ходил между нами, как старый лекарь. Он не говорил ни слова. Он просто подходил к каждому, кто трясся от озноба, и начинал тереть кожу жесткой тряпкой, смоченной в спирту.

— Не греться, — ворчал он сквозь зубы. — Тереть. Кровь должна пойти сама, иначе умрёте от тепла.

Гордей, здоровый кузнец, стонал, когда Пряха водил веником по его спине. Но стоны были облегчёнными. Боль уходит, когда тело начинает жить заново.

Я сидел отдельно, у самой печи. Левая рука лежала на колене. Правая висела, бесполезная. Я смотрел на огонь и считал.

Не трофеи. Не серебро. Не муку.

Людей.

Все живы. Федька дышит ровно. Кузьма греется. Оська слушает, как трещит пламя. Гордей терпит боль. Мы вернулись. Все. Без потерь.

Я достал журнал. Страницы были влажными, но чернила держались. Я открыл новую страницу и написал восьмую строку. Почерк был неровным, ломаным, но читаемым.

«Люди первее трофеев».

Наша наука теперь включала не только технику убийства и скрытности, но и цену победы. Цена измерялась в живых сердцах, которые бьются сегодня ночью.

Ночь пришла незаметно. Баня остывала. Лагерь затих. Только патрули ходили кругами, да ветер шумел в камышах.

Клоков позвал меня к себе — к большой раскладной карте кордона, разложенной на столе при свете одной свечи.

Я подошёл. На карте были новые линии. Штабные отметки. Красные флажки, обозначающие движение наших полков. Синие точки — шведские позиции.

Мой чертёж лежал сверху. Перечеркнутый чужой рукой, исправленный, дополненный. Но под ним, в графе «Исполнитель», стояло моё имя.

Андрей Рябов.

Клоков смотрел на карту, не на меня.

— Теперь тебя считает армия, — сказал он тихо. Голос его был серьёзным, без привычной сержантской грубости. — Ты стал частью механизма. Армия знает твои методы. Армия будет ждать от тебя таких же результатов.

Он повернулся ко мне.

— И та сторона тоже считает.

Это было предупреждение. Факт. Как погода. Дождь идёт — будешь мокрый. Враг знает — будешь целью.

Я кивнул.

— Я знаю, господин сержант.

— Иди спать, унтер. Твои люди ждут приказа на возврат. Маршрут — через гать, к своему обозному стану: передовой штабной лагерь остаётся здесь. Две дроги с мукой и патронами дадут к рассвету — поведёте их собой. Завтра в это же время.

Уходя, я задержался у Оськи. Мы при свете свечи сняли с моей бересты рабочую копию карты моста — на отдельном лоскуте бересты, с теми же сваями, сходнями и постами. Оригинал остался штабу, в папке Клокова. Копию я отдал Федьке.

— Держи за пазухой, — сказал я. — Это рабочий лист партии. Если со мной что — путь знаешь ты.

Выходя из палатки, я чувствовал холод ночи. Он бил в лицо, резал кожу. Но внутри было тепло — от бани, от признания, от ответственности.

На валу лагеря я остановился. Смотрел на запад. Там, за рекой, в темноте, вспыхнул белый холст маяка. Один раз. Яркий, короткий луч света. Потом погас.

Кузьма стоял рядом, закутавшись в плащ-палатку.

— Смена вне порядка, — прошептал он.

Я не ответил. Я видел вспышку. Видел, как она отражалась в воде. Враг локализован. Враг знает. Ответ близок.

Но сейчас — тишина. Я слушал её и своё сердце: сегодня я отдал армии первый свой план — своим именем, своей кровью.

Туман сгущался, превращая утренний свет в грязную взвесь. Он пах тиной, гнилью и тем особым холодом, который проникает под кожу через щели в одежде и оседает в костях, делая тело чужим и тяжёлым. Мы шли по гати. Узкий перешеек из брёвен и хвороста, переброшенный через раскисшую низину, был единственной дорогой для обозных дрог с мукой и патронами. Горло болота — знакомая по учениям опасность таких мест, усвоенная задолго до того, как я научился стрелять.

Я замыкал колонну. Это было моё место: видеть всё, что происходит позади, и слышать то, что шепчет впереди ветер. Левая рука лежала на рукояти ножа, правая висела плетью, одеревеневшая от холода. Ключица ныла тупо, надоедливо, но я гнал эту боль на задний план и шёл дальше.

Впереди шагал Кузьма Шумов. После того как мы вынесли Лунда из штабной палатки, он стал моей правой рукой, хотя сам называл это «местом у виселицы». Его сапоги — левый свой, правый из запасной пары Гордея — шуршали по примятой траве тихо, почти беззвучно. Под ноги он не смотрел — глядел вверх, туда, где кроны ив сплетались в плотный купол, скрывающий небо.

И вдруг его левая рука взлетела вверх, кулак сжат. Стоп.

Кузьма замер, будто наткнулся на невидимую стену. Я подошёл ближе, прижимаясь спиной к влажному стволу ольхи. Туман здесь был плотнее, капало с листьев.

— Глазок, — прошептал Кузьма. Голос его звучал глухо, как из-под земли. Он не оборачивался; взгляд упирался в верхушку ближайшей ивы, растущей прямо над местом, где обычно останавливались стрелки для отдыха.

Я поднял глаза. И увидел. Одна из нижних ветвей была аккуратно подрезана — не сломана ветром, не оторвана зверем. Срез был ровным, острым, сделанным ножом или топориком так, чтобы убрать мешающие прутья. Свежая рана на дереве плакала соком, блеснув на тусклом утреннем свету. Кто-то готовил здесь позицию для обзора. Или для прицела. Если есть глазок сверху, значит, есть ствол сверху. И если мы пойдём колонной по узкому настилу, нас снимут одного за другим, как мишени в тире.

Время остановилось. Колонна позади ждала команды. Ещё минута простоя — и враг поймёт, что его прочитали. Ещё секунда колебаний — и залп ляжет в живую толпу людей.

Я не кричал «Осторожно». Крик выдаёт страх, а нам нужна была ярость порядка. Я сделал жест левой рукой: кулак вверх, затем два пальца вниз. Команда: «Развернуть щит».

Гордей, огромный кузнец, шедший рядом с задними дрогами, понял замысел мгновенно. Вместе с Селивёром они принялись разворачивать гружённые мукой телеги поперёк настила гати. Борта повозок, усиленные железными полосами, легли на бревна, создавая импровизированную баррикаду. Люди прятались за ними, используя груз как укрытие. Колонна превратилась в укрепление. Мы ломали приказную инструкцию «движение колонной», превращая марш в боевой порядок охвата.

В этот момент из-за кустов на противоположном конце гати вылетела первая пуля.

Звук был сухим и резким, как треск ломаемой кости. Пуля впилась в дерево борта, выбив щепу. За ней пошли вторая, третья. Засада открыла огонь, ожидая плотную колонну, а получила рассыпанный строй за щитами. Дым пороха смешался с туманом, став едким и серым.

— Огонь по вспышкам! — голос мой прозвучал спокойно, хотя внутри натянулась струна звонче тетивы арбалета. — Ось! Слева в кусты! Гордей! Прямо в воду!

Партия ответила короткими залпами из-за укрытий. Стрелки засады, расположенные на дальнем конце и в боковых кустах, отвечали метким огнём. Одна из пуль попала в лошадь, тянущую заднюю повозку. Животное заржало, рухнуло, рвя постромки. Повозка кренилась, открывая борт.

Горящий пыж шведского выстрела перелетел через открытый борт и упал в сухую солому под укрытым грузом. Солома занялась быстро, и огонь начал подбираться к сену и мешкам муки в кузове. Противник действовал активно: слышались голоса на шведском и русском — прямой бой затянулся, и ватажники-дезертиры пытались обойти гать по мелководью, заходя во фланг.

Я видел, как загорается сено. Если гореть будут только повозки, это плохо. Но если огонь станет стеной между партией и врагом — это спасение.

— Не тушить! — крикнул я, подавая пример спокойствием, которого у меня не было. — Поддать!

Гордей и несколько бойцов бросили на горящую повозку остатки сухой соломы из своих ранцев. Пламя разгорелось ярче. Дым, густой и едкий, наполнил низину.

И в этот момент я увидел Федьку.

Мальчишка, который должен был идти в середине строя, оказался придавленным упавшей оглоблей у колеса горящей повозки. Он лежал без сознания, оглушённый контузией, а языки пламени уже лизали край его куртки. Рядом стоял Митроха Гвоздь. Старый солдат, ворчливый, тяжёлый, надёжный — тот, чья жизнь была ценой этого дня.

Митроха не раздумывал. Он намотал на руки мокрые тряпки, не снимая кафтана, и шагнул навстречу опасности. Я читал это по его лицу — простое и страшное: спасти Федьку любой ценой. Я видел это — и не крикнул никому встать у повозки и прикрывать его со спины. Мой глаз был прикован к кустам засады, и за этот недосмотр я не заплатил ничего. Пока. Дым, жар, крики раненых лошадей и свист пуль давили со всех сторон.

Стрелки засады увидели движущуюся цель и перенесли огонь на Митроху. Пули выбивали грязь из воды, чиркали по воздуху. Я видел, как тело друга становится мишенью. Ярость захватила меня. Я рванулся было к нему, но понял: геройство подождёт — сейчас нужен командир.

— Закрепиться! Раненого на носилки! Живых не бросать! — крикнул я, не отрывая глаз от кустов засады.

Митроха поднял упавшую оглоблю одним рывком — руки, привычные к работе с деревом и железом, справились с тяжестью. Он схватил Федьку под мышки и потащил к краю настила, где вода уже была по колено. Он шёл вперёд, сквозь стену огня и дыма, к безопасному участку берега. Он нёс живое.

Когда они вышли из зоны прямого огня повозки, когда до своих оставалось три шага, вторая пуля нашла Митроху. Она вошла ему в спину, пробив лёгкое.

Митроха не упал сразу. Он вздрогнул, будто его ударили кулаком в грудь, сделал ещё один шаг. Потом второй. Он опустил Федьку в воду — аккуратно, лицом вверх, чтобы лишённый сознания мальчишка не захлебнулся и мог дышать. Положил его так, как кладут ребёнка в колыбель.

А потом Митроха осел. Вода вокруг него быстро окрасилась в бурый цвет. Он пытался вдохнуть, но изо рта вырывалось только бульканье и розовая пена. Глаза его смотрели на меня. В них не было страха — только усталость и вопрос: «Спас?»

— Спас, — сказал я ему. Голос срывался. — Ты спас его, брат.

Кузьма подхватил тело Митрохи. Тяжесть старого солдата легла на плечи молодого фельдфебеля. Кузьма не плакал — он стискивал зубы так, что желваки ходили ходуном. Я догадывался, какую цену он видит в этом теле и что теперь ему нести эту цену дальше.

Федька пришёл в себя на берегу. Его лицо почернело от копоти, губы синие от холода. Он кашлял, выплёвывая воду. Голень у него была рассечена краем оглобли; Селивёр уже стянул рану тряпицей, кровь просачивалась сквозь ткань, но не хлестала. Оська Мокеев сидел рядом, держа мальчишку за руку. Руки у Оськи дрожали, но он держал крепко.

— Чертёж, — хрипел Федька. — У меня... чертёж...

Я подошёл. Правая рука оставалась бесполезной, поэтому я использовал левую, чтобы проверить карман парня. Там, под мокрой тканью, лежала свёрнутая береста. Моя карта моста. Рабочая копия моего чертежа моста, переведённая на бересту перед выходом. Она промокла, но выдавленные линии держались.

— Карта цела, — сказал я. — Митроха вытащил тебя живым — и лист уцелел. Не дай этому быть напрасным.

Федька кивнул. Он пытался встать, но ноги не слушались. Кузьма поднял его на руки, как ребёнка. Мальчишка весил мало, но каждый шаг по гати теперь требовал усилий.

Партия ещё не ушла. Тело Митрохи завернули в плащ-палатку и уложили на волокушу у своего берега, готовя к переходу, когда пробьёмся дальше. Мы не могли оставить его здесь. Ни волкам, ни шведам. Он наш. Он часть нашего круга.

Туман начал редеть. Солнце пробивалось сквозь облака, но грело оно слабо. Низина вокруг нас выглядела как поле боя после битвы: обломки досок, следы крови на воде, запах горелого сена и пороха.

Позади, у берега, дышал Федька и остывал, укрытый плащ-палаткой, Митроха. Бой не кончился: враг держал дальний конец настила, и мы всё ещё оставались прижатыми к своему краю гати.

Глава 3

Дым забивал горло, ел глаза, но не глушил звука. Я слышал скрип дерева под колёсами, хрип раненой лошади и далёкий, почти нечеловеческий рёв пламени, пожирающего сено на борту моей повозки. Митроха лежал у берега, укрытый чужим плащом. Мне помнилось, как его руки тянулись к мальчишке, пока он ещё дышал, — теперь тело остыло, как камень. Федька дышал, но был в отключке от контузии. Мы были прижаты к своему концу гати. Впереди — узкий настил из брёвен, по которому нас могли снять, как барсуков в норе. Позади — вода и грязь, где кончились патроны.

— Командир! — голос Кузьмы пробился сквозь гул в голове. Он сидел на корточках рядом с телом друга, его пальцы побелели на рукояти саперной лопатки. — Они перекладывают стволы. Сейчас лягут плотнее. Уйдём в воду?

Я посмотрел на дальний конец гати. Сквозь клубы серого дыма виднелись тёмные силуэты. Хьельм командовал. Я слышал этот голос раньше, на плавнях, он был сухим и точным, как выстрел. Шведские стрелки не спешили бежать через дым. Они ждали. Ждали, пока мы ослабеем, пока огонь погаснет или ветер сменится. Если мы останемся здесь ещё на час, они обойдут фланги по мелководью, и нам некуда будет деться. Если пойдём назад, в топь, потеряем груз, оружие и, возможно, жизнь всех, кто ранен.

Победа должна быть сейчас. Не пулей. Чем-то большим.

Мой взгляд упал на вторую повозку. Она была целая. На ней лежали мешки с мукой, выделенной штабом для обратного конвоя, и связки сухого сена для корма. Тяжёлые, гружённые до предела обозные дроги. Лошади в упряжке стояли рядом, опустив головы, дёргая кожей, вздрагивая от жара. Поводья держали их на месте.

Идея вспыхнула в темноте, яркая и опасная, как искра из кремня. Повозка становится оружием ближнего боя. Масса против строя.

— Пряха! — крикнул я, не оборачиваясь. Старик-пластун, сидевший за обломком бревна, поднял голову. Его глаза, покрасневшие от дыма, встретились с моими. Он понял, не дожидаясь конца моей реплики. — Сними всё живое со второй телеги. Оружие, раненых, личные вещи. Патроны выними и отдай бойцам. Муку и сено оставить.

Пряха кивнул. Он не спросил зачем. Он просто начал действовать. Гордей и двое бойцов бросились выполнять приказ. Мы дрались с огнём за каждую минуту: не сними они патроны вовремя, те могли рвануть прямо в самой телеге. Огонь полз по доскам первой подбитой повозки, подбираясь к сухому сену в кузове.

— Лошадей разворачивай! — продолжил я, чувствуя, как левая рука, сжимающая топор, начинает дрожать от напряжения. Правая, мёртвая и бесполезная, была прижата ремнём к рёбрам и не слушалась. Вся тяжесть мира легла на одну кисть. — Головами к врагу, вдоль гати! Морды вниз, в пыль!

Это шло против всей логики марша. Лошади шарахались, чуя жар позади себя. Возчики матерились, натягивая постромки, пытаясь развернуть тяжёлых битюгов головами к врагу, вдоль настила, подальше от огня, который грыз кузов позади. Животные ржали, всхрапывали, били копытами в землю. Паника животных могла сорвать весь план. Если они рванут в стороны, в болото, тарана не будет. Будет только хаос.

Я подошёл к передней упряжке. Жеребец бился в постромках, ноздри его раздувались — он чуял жар и горелую шерсть позади себя. — Глаза закрой! — крикнул я. Пряха намотал на морду жеребца ветошь, перекрывая ему свет, и перехватил поводья обеими руками, наваливаясь всем телом. Жеребец рванулся, захрипел, но я уже вёл его одной левой рукой за недоуздок, пригибая морду вниз, к самой грязи, — мягко, без удара, пока возчики повторяли то же с остальными лошадьми. Постромки держались. Животные всё ещё дрожали, рвались от запаха гари, и их удерживали силой, вожжами, до самой команды.

Гордей поднёс на длинной щепе огонь от горящего кузова первой повозки и вложил её в сухую солому вторых дрог, исправных, с выделенной штабом мукой для обратного конвоя. Пламя вспыхнуло мгновенно, охватывая сено и мешки с мукой. Запах стал удушливым, сладковато-горелым.

— Руби! — крикнул я Гордею.

Гордей, огромный кузнец, одним ударом топора перерубил удерживающий повод передней пары лошадей. Звук трещины был сухим и резким, как ломание кости. Животные рванулись вперёд, прочь от огня и жара, палившего им спины. Но впереди — узкий настил гати, и деваться им некуда. Телега, гружённая мукой и горящая, сорвалась с места.

Горящие дроги въехали в зону плотного огня, где горело сено на настиле. От удара о препятствие мешки с мукой лопнули. В воздух поднялось облако белой пыли. Мучная пыль. Она оседала на глазах, забивала ноздри, смешивалась с гарью. Шведские стрелки, находившиеся ближе всех к месту разрыва, закашлялись, принялись тереть глаза, теряя ориентацию. Их строй рассыпался.

Огонь, поддерживаемый жиром и сеном, перекинулся на настил. Пламя стало стеной между партией и врагом, но эта стена двигалась в сторону шведов, толкаемая телегой. Скрип дерева, ржание бьющихся лошадей, белый удушливый туман над болотом — всё слилось в один тяжёлый, давящий гул. Пыль добила тех, кто ещё держал оружие: шведы пятились от настила, слепые и кашляющие.

Я встал из-за укрытия. Лицо моё почернело от сажи, левая рука сжимала топор, правая, прижатая ремнём к рёбрам, повисла мёртвым грузом.

— За мной! Не стрелять! Ножом!

Я первым сделал шаг в клубящийся дым. За мной пошли Кузьма, Гордей, Пряха и остальные.

Враг всё ещё был опасен. Несмотря на кашель и слёзы, часть шведских стрелков успела отступить за телеги и перезарядить фузеи. Они начали стрельбу вслепую, в густой туман. Пули

свистели над головами, одна касательно задела Оську по плечу; мальчишка упал, но Селивёр помог ему подняться и тут же перетянул плечо тряпицей, прежде чем вернуться к работе.

Ватажники-дезертиры видели, как их фахтер Хьельм отдаёт приказ отходить к резервам, оставляя их одних в дыму. Один из ватажников, здоровяк с русским лицом, бросил своё оружие в грязь.

— Да пошёл ты! — крикнул он по-русски.

Следом такое же решение принял его товарищ. И третий. Строй шведского охранения, состоявший из наёмников, трещал по швам. Судя по всему, умирать в этом белом аду из муки и огня ради чужого приказа они не собирались.

Я вышел из дыма прямо на группу дезертиров, только что бросивших оружие. Я их не тронул. Обошёл, направляя взгляд и топор дальше, на ядро ватаги, которое пыталось организованно уйти в камыши.

Хьельм сделал последний ход. Он не атаковал. Он развернулся и побежал. Но он бежал не налегке. На его плече — моя сумка с бумагами разведывательного развертывания, которую ватажники сняли с повозки в начале боя, пока партия защищалась.

Ярость захватила меня. Я рванулся было в погоню, но Кузьма удержал меня за здоровую руку:

— Командир! Своих считать надо! Там Федька!

Я остановился. Смотрел на убегающую фигуру Хьельма, скрывавшуюся в зелёной стене камышей. Победа есть. Засада сломана. Но цена уплачена кровью Митрохи и честью бумаг.

Дым постепенно рассеивался. На гати лежали тела: свои и чужие. Горящие телеги догорали, превращаясь в чёрный уголь. Мука, высыпанная на землю, смешалась с грязью и кровью, образуя серую кашу. Тишина возвращалась, но звенела после грохота боя.

Я стоял посреди этого поля. Левая рука опустилась с топором вниз. Я смотрел на место, где упал Митроха. Там уже сидел Кузьма, склонившись над телом друга.

***

Тишина после боя не была спокойной. Она была тяжёлой, как мокрая шерсть на спине мёртвого коня. Дым от горящих дрог всё ещё висел над гатью, но теперь он оседал на плечи пеплом и усталостью. Ветер стих, и вместе с ним исчезли крики, треск огня и свист пуль. Остались только звуки, которые слышны в мире после смерти: хрип раненого, скрип дерева под чьим-то весом, далёкое карканье вороны, почуявшей кровь.

Я стоял посреди настила, опираясь левым плечом об уцелевшую сваю. Правая рука, прижатая ремнём к рёбрам, ныла тупой, постоянной болью, напоминающей о том, что я жив. Топор в левой руке лип от крови и грязи. Я отвёл взгляд от топора и обвёл своих людей. Они были там, где им место: кто сидел, кто лежал, кто шарил по земле глазами, ища то, что потерял, или

то, что можно было взять. Но никто не шевелился без команды. Это было хорошо. Значит, строй держится.

— Командир, — голос Пряхи был тихим, почти неразличимым в гуле ушей. Старик-пластун стоял рядом, вытирая нож о траву. Он не спрашивал разрешения, он просто ждал. Его глаза, красные от дыма, смотрели на меня внимательно и спокойно. Мне казалось, он угадывал, что я скажу, ещё до того, как я открою рот.

Я поднял голову. Голос вышел хриплым, сорванным криком в дыму.

— Порядок! — рявкнул я так, чтобы слышал каждый. — Сначала своих. Раненый и мёртвый. Потом оружие. Потом сумки. Никто не трогает чужое добро, пока не сказано «брать». Понятно?

Молодой новик из тройки, что дрожал перед первым залпом, дёрнулся. Его пальцы уже тянулись к блестящей рукояти шведского пистолета, валявшегося в грязи у колеса повозки. Наверное, инстинкт загнанного зверя шептал ему взять железо сейчас, пока можно, — я сам знал этот голос. Я видел, как его рука замерла в воздухе, готовая схватить смерть или жизнь.

Сперва Пряха не сказал ни слова. Он просто посмотрел на мальчишку. Взгляд старика был холодным и точным, как игла. Новик отдёрнул руку, виновато спрятал её за спину, покраснев от стыда больше, чем от страха.

— Лапу убери, командир сказал, — коротко бросил Пряха, и его тон не допускал возражений. Он повернулся ко мне. — Они голодные до железа, Андрей Петрович. Если пустим брать сейчас — потеряем строй. Строй здесь важнее стволов.

Я кивнул. Голова гудела, мысли текли медленно, как смола. Но тело помнило науку Митрохи, которую я сам начал писать в бересте прошлой ночью. Наука порядка спасала жизни лучше, чем наука стрельбы.

— Оська, Селивёр, волокуша готова?

Мальчонка, чьи руки ещё пахнули детским мылом, хотя глаза стали взрослыми после этой гати, кивнул. Он тащил второй край сломанной оглобли, привязанный верёвкой к бревну. Селивёр молча подгонял колесо, которое удалось снять с перебитой оси. Волокуша вышла грубой, корявой, но двигалась.

— Аккуратно, — приказал я, подходя к месту, где лежал Митроха. Плащ-палатка скрывала его тело, но видна была вытянутая нога в стоптанном сапоге. — Не ронять. Он жив был, когда уходил. Пусть и домой придёт как живой.

Четверо бойцов подошли к телу. Я опустился на колени; левой рукой опирался о землю, правую, битую, использовать для опоры не мог, поэтому просто сел на пятки, чувствуя, как ремень впивается в бока. Я помогал подстраховывать ноги мертвеца, чтобы они не волочились по земле, не цеплялись за щепки. Так живые платили усталостью за его покой. Мне казалось, люди предпочли бы бросить тело в яму, засыпать землёй и бежать прочь от этого места, пропитанного гарью и кровью. Но я заставил их нести его на руках, как товар, который нельзя портить. Как друга, который не заслужил пренебрежения даже в смерти.

Кузьма Шумов сидел рядом с волокушей, держа в руках саперную лопатку Митрохи. Он не выпускал её. Его пальцы побелели на деревянной ручке, врезавшись в неё ногтями. Он не плакал. Лицо его было серым, как пепел вокруг, и глаза смотрели куда-то сквозь меня, в дальнюю точку, где кончался мир и начиналась месть. Я подошёл к нему, хлопнул здоровой левой рукой по плечу. Ни слова. Только жест поддержки. Кузьма вздрогнул, будто от удара тока, и поднял на меня глаза. Мне почудилось, что я читаю в них вину за то, что он не закрыл собой друга, ярость и глухую, звериную тоску.

— Живые потом, — тихо сказал я ему. — Сейчас — работа.

Работа продолжилась. Федьку Малого уложили на вторую волокушу, сколоченную из второй оглобли и плащ-палатки. Мальчик стонал во сне, голова его была перевязана грязной тряпицей, но дыхание стало ровнее. Контузия и ожоги оставили свой след, но жизнь осталась. Это была главная победа дня, дороже любой трофейной муки. Мы закрепили его верёвками, чтобы не соскользнул в воду при качке.

Затем настало время чужих. Четверо пленных ватажников лежали лицом в грязи на настиле, руки связаны их же ремнями. Они были дезертирами, смесью шведской униформы и крестьянской рубахи. Один из них, здоровяк с русским лицом, пытался подняться, но Гордей, кузнец, одним коротким толчком ноги в плечо прижал его к настилу.

— Лежи, сука, — рыкнул Гордей, не глядя на пленного. Он пересчитывал трофейные стволы, брошенные в воду. Мушкеты, фузеи, пистоли — всё это было теперь нашей добычей, но брать её пока было нельзя.

Я подошёл к пленным. Они злые, голодные, испуганные, но молчаливые. Шведская дисциплина, которая ломала людей на марше, здесь трещала по швам. Эти люди были вне строя, вне закона, вне чести. Им нужно было дать понять, что они уже проиграли не только бой, но и право на тайну.

— Перевернуть одного, — командовал я.

Кузьма, всё ещё державший лопатку Митрохи, пнул ближайшего пленного в плечо. Тот перевернулся на спину, кашляя, открыл глаза. Лицо молодое, испуганное, в грязи и саже. Я не стал спрашивать «кто главный» или «где командир». Такие вопросы бесполезны против тех, кто привык врать ради жизни. Вместо этого я достал из-за пояса стриженую ивовую ветку — «глазок», найденный в начале боя. Листья на ней ещё были зелёными, сок не высох. Свежий срез.

Я положил ветку перед глазами пленного.

— Знаешь это?

Пленный посмотрел на ветку. Его зрачки расширились. Он узнал этот знак — ещё до слов о метке смены.

— Это... это метка смены, — прохрипел он. — Мы должны были видеть эту ветку, если бы шли правильно. Но её срезали вчера ночью. Кто-то наш.

Пленный попытался отвернуться, сделать вид, что не понимает, — и, по-моему, именно эта попытка его и выдала: человек не в теме не стал бы отводить глаза от ветки так старательно. Мне казалось, он сам понимал, что раскрыл себя мелочью, и эта мелочь пугала его сильнее любого допроса.

— Кто срезал? — спросил я тихо, наклонившись к его лицу.

— Начальник ваш же и дал маршрут, — ответил он, глядя прямо на меня с ненавистью и страхом одновременно. — По цепочке до нас дошло. Через мельника. Через старосту. Мы не сами пришли. Нас привели ваши бумаги.

Эта фраза упала в тишину, как камень в болото. Я выпрямился. Лицо моё каменело. Мы искали шпиона среди шведов, искали предателя в штабе, искали нить в узлах кушаков. А нить тянулась через наших же торговцев, через местных мужиков, продающих сведения обеим сторонам ради серебра. Предательство было не идеей, не политикой. Оно было бизнесом. И оно работало лучше любой армии.

— Староста? Или кто-то ближе? — спросил я, поворачиваясь к Пряхе.

Старик молчал, и я дочитал в его взгляде догадку: «Мы искали Гнедина, а нитка тянется дальше». Становилось ясно: противник не только снаружи, но и внутри обозного пути, что кормит нас. Нельзя было доверять лагерным приказам без проверки. Каждый шаг на тракте мог быть прочитан и обыгран.

В этот момент Оська, мальчонка, делавший волокушу, вскрикнул.

— Дядя Андрей! Там!

Он указывал на кучу снятых сумок — своих и чужих, — что лежала у края воды. Одна из сумок промокла насквозь, кожа её разбухла, бумага внутри должна была раскиснуть. Казалось бы, бесполезный мусор. Но Федька, лежащий на волокуше, полураздетый и слабый, вдруг открыл глаза. Он не мог встать, но его взгляд был острым, заточенным болью и интуицией.

— Там... там карта, — хрипло произнёс он.

Я подошёл к сумке. Кожа её была разбухшей, липкой от грязи и воды: её сняли с убитого шведского стрелка вместе с прочими и швырнули в кучу. Я взял нож «А. Р.» в левую руку; правая только мешала. Левая уверенно резала кожу подкладки. Внутри, завёрнутый в три слоя масляной ткани, лежал сухой лист. Бумага не пострадала: ткань защитила его от влаги лучше любого футляра.

Я развернул лист. Левая рука дрогнула от одного понимания веса находки. Это был картец — чертёж генеральных магазинов шведов. Линии дорог, цифры количества муки, даты поставок, имена интендантов. Всё это было начертано аккуратным, сухим почерком.

Пряха заглянул через плечо.

— Это хлеб армии Карла, — сказал он хрипло. — Ты держишь в руках их желудок.

Находка подтверждала слова пленного: ватага действовала ради снабжения, а не просто мародёрства. Охраняли они еду. Еду, которая кормила шведскую армию и позволяла ей стоять на русском поле. У меня появился инструмент для ответного удара — знание того, где болит у врага.

— Это не трофей для забавы, — сказал я, складывая карту и пряча её в подсумок Саввы, который висел на поясе. — Это оружие. Никому не показывать. Только мне, тебе и Клокову.

Теперь я знал, куда бить дальше: от обороны мы переходили к удару — по самим шведским магазинам. Карта определяла ближайший ход — продовольственную войну. Но сначала нужно было закончить с этим полем.

Караул выступал, погоняя перед собой четверых связанных ватажников. Волокуша со скрипом двинулась по настилу. Тело Митрохи уходило назад, к своим. Я остался с партией на гати, окружённый пеплом, водой и чужими трупами. Нужно было собрать всё остальное и уйти другим путём. Не трактом. Шведы знали тракт. Шведы знали наши маршруты, потому что наши же люди продавали их за серебро.

— Камышами, — сказал я Пряхе. — Шведы ждут нас на дороге. Мы пойдём водой.

Старик усмехнулся.

— Камышами? Там топь и комары.

— Там и наша жизнь, — ответил я.

Мы начали собираться. Трофейное оружие ватаги было связано в связки и брошено в воду. Тащить лишние стволы было не по силам. Оставлять их врагу было преступлением. Шведские патроны пересыпали в свои подсумки, а пороховницы забрали целиком, чтобы не рассыпать порох впустую, — на отход хватит и своих; рваные сумки уходили в грязь. Мы забирали только самое необходимое: еду, воду, инструменты и информацию.

Пока партия строилась, я смотрел на запад, туда, где скрылся Хьельм. Он ушёл с моей сумкой бумаг. Он знал наше развертывание. Он знал имя Рябова. Он имел нашу карту. И теперь мы имели его карту. Война стала симметричной. Каждый знал слабое место другого. Каждый платил за ошибку жизнями своих людей.

Митроха заплатил своей жизнью за жизнь Федьки. Цена уплачена. Долг записан. Но счёт открыт. И этот счёт требовал оплаты. Не деньгами. Не бумагами. Местью.

Я последний раз оглянулся на гать. На месте, где горели телеги, остались чёрные пятна на воде. На месте, где упал Митроха, лежала лишь примятая трава. Память не оставляла следов на земле, только на сердце.

— Идём, — приказал я.

Партия тронулась в путь, растворяясь в высокой стене камышей. Тишина болота приняла нас, как принимает всех, кто уходит от войны к войне.

Глава 4

Тишина в избе была густой, как закваска в опарном горшке. Она давила на уши, набивалась под веки и холодила ладони. Мы стояли над телом Митрохи Гвоздя, укрытым до пояса грубой холстиной, но я смотрел не на его лицо — я смотрел на руки. Они были сложены крест-накрест на груди, пальцы чуть сжаты, будто он всё ещё держал оглоблю или верёвку, или того мальчишку, которого вынес из огня. Жилы на запястьях почернели от времени и холода, кожа стала восковой, натянутой на кости. Он больше не ворчал. Больше не стучал зубами от озноба, когда мы шли по раскисшей дороге. Больше не требовал ружьё, которое ему обещали, и не матерился на моих новых новиков. Тишина убийственна, потому что она забирает у человека право спорить. Кафтан с него сняли уже здесь, для погребения: на спине чернела запёкшаяся кровь и пулевая дыра. Рубаху, ложку с резной ручкой и кремень Груня с Аксиньей забрали ещё вечером — чистить, сохранять.

Кузьма Шумов сидел на лавке у окна, спиной ко мне. Он не спал. Его плечи вздрагивали с частотой, которая выдавала внутреннюю дрожь, которую невозможно было остановить волей. В руках он сжимал саперную лопатку Митрохи — с оббитым черенком и ржавым пятном на лезвии, где тот чистил картошку перед боем. Лопатка была грязной, в глине и крови, но Кузьма не стал её мыть. Он просто прижал её к себе, как ребёнка; казалось, выпусти он её — и упадёт в эту темноту, не встанет. Я видел, как белеют костяшки его пальцев.

— Командир, — голос Пряхи прозвучал сухо, как труха в старой колоде. Старик стоял у порога, не входя глубже в комнату. Он не смотрел на мёртвого — только на живых. На меня. — Ты будешь говорить? Или будем молчать до утра?

Я повернулся к нему. Правая рука, прижатая ремнём к ребрам, отдавала болью в челюсть тупыми, пульсирующими толчками. Левая лежала на поясе, рядом с ножом «А. Р.». Этот нож чувствовался теперь иначе. Ещё недавно это была улика, тайна, груз прошлого. Теперь это был инструмент. И я знал, что буду им пользоваться.

— Молчание — тоже разговор, Силантий, — ответил я тихо, чтобы не разбудить тех, кто уже заснул в углу, устало свалившись на солому. Федька Малой лежал там, бледный, с перевязанной головой, но глаза его были открыты. Лекарь перед тем стянул швами голень, рассечённую оглоблей, — Селивёрова тряпица держала до его рук. Он слушал. Он всегда слушал, даже когда делал вид, что спит.

Пряха кивнул, коротко, почти незаметно, и вышел за дверь. Треск веток под сапогами старика растворился в ночном воздухе. Осталось только дыхание Кузьмы и шорох крыс в сенях.

Я подошёл к лавке. Не сел — стоял, глядя на профиль Кузьмы.

— Ты просил место в первой паре, — сказал я ровно, без нажима.

Кузьма не обернулся.

— Просил.

— Значит, возьмёшь. Но не сегодня. Сегодня ты понесёшь её.

— Чего? — он наконец повернул голову. Глаза были красными, белки в прожилках, но взгляд трезвый. Холодный. Бешеный.

— Лопатку. До самого кургана. Ты несёшь память. Я несу команду. Если ты сорвёшься здесь, в лагере будет два трупа вместо одного. Ты нужен им живым. Мёртвые сами найдут дорогу, а живые без тебя не сделают ни шагу.

Кузьма долго молчал. Потом медленно встал. Лопатка звякнула о деревянный пол, когда он поднимал её с колена. Он посмотрел на лезвие, провёл большим пальцем по шероховатому краю.

— Я буду считать Хьельма сам, — прошептал он. — И его людей. По одному.

— Считай, — согласился я. — Но считай так, чтобы дожить до итога.

Он кивнул. Один раз. Резко. И снова сел, прижав лопатку к груди.

Утро пришло серое, низкое, с мокрыми облаками, цепляющимися за верхушки сосен. Мы не ждали команды штаба. Разбор будет завтра. Сейчас нужно было сделать то, что нельзя отложить: положить своего в землю.

Мы вышли из избы. Груня и Аксинья ждали нас у ворот избы. Они не плакали. Это был не плач — это был страх, не отпускавший их с минувшей зимы, и теперь он стоял перед ними телом на волокуше. Они просто стояли, закутанные в платки, и смотрели на нас. На волокушу, куда аккуратно уложили тело Митрохи. На Кузьму, идущего следом с лопаткой в руке. На меня.

Аксинья шагнула вперёд. В руках она держала каравай хлеба и большой кухонный нож с деревянной рукоятью. Хлеб был свежий, тёплый, пах кислым тестом и дровами. Она молча положила хлеб на стол у входа в двор и поставила рядом нож. Хлеб — для путника. Нож — для хозяина пути. Она предлагала мне резать. Не есть. Резать. Так делят горе и ответственность.

Я подошёл. Левая уверенно взяла нож. Правая бесполезно висела. Я посмотрел на Аксинью. Её лицо было каменным, и я догадался, о чём она молчит: Ты привёл моего соседа мёртвым. Что ты принесёшь взамен?

Я не стал отвечать словами. Словами тут не заплатишь. Я воткнул нож в хлеб. Глубоко, до упора, в центр каравая. Разрезал круг ровно пополам. Одна половина упала на стол. Вторая осталась на лезвии. Я положил клинок на стол, половиной к себе, а первую половину протянул Аксинье. Ту, что на столе. Себе взял вторую. Мы ели молча, стоя посреди двора, пока люди строились. Крошки падали на мокрую землю. Хлеб был вкусным. Горьким от соли пота и сладким от муки. Это была сделка. Моя кровь за их хлеб. Их хлеб за мою правду.

Груня, дочь Степана, подошла ко мне после того, как мы съели хлеб. Маленькая, худая, с глазами слишком большими для лица. Она подняла руку и коснулась серебряной пряжки, висевшей у меня на шее, — поправила её, чтобы легла ровно на шнуре, рядом с серебряным рублем царской чеканки.

— Помни, — сказала она тихо. — Правду узнать. И сбрую вернуть.

— Помню, — ответил я.

Путь к холму был недолгим, но тяжёлым. Земля мягкая, вязкая, цепляла ноги сапог. Волокуша скрипела, перекатываясь через кочки. Митроха качался на ней, как живой товар, который нужно доставить до склада. Мы несли его вместе. Кузьма шёл первым, с лопаткой на плече, как со знаменем. За ним я. Потом остальные. Никто не разговаривал. Только скрип дерева и хлюпанье грязи.

Холм над Ворсклой был голым. Ветер здесь гулял свободно, срывая листья с молодых берёзок. Место выбрано правильно. Видно далеко. И врага, и своих. И небо.

Мы опустили тело в яму. Яма была глубокой, широкой. Кузьма сгрёб лопаткой у края ямы первую горку земли и замер, держа её наготове. Он не торопился. Тело лежало в холщовом саване, и лицо Митрохи было видно всем.

Федька, которого вели под руки двое бойцов, вдруг остановился. Он вырвался. Слабый, бледный, с повязкой на голове, он подошёл к краю могилы. Достал из-за пазухи трофейную фузейную пряжку — блестящую медь, снятую со шведского мушкета в начале похода.

— Держи, — прохрипел он, бросая пряжку вниз, на холщовый саван. — Он вынес меня с ней на груди. Долг за мной. Всю жизнь — за мной.

Никто не возразил. Это было правильно. Пряжка упала на ткань с тихим стуком. Медь против холста. Жизнь против смерти.

Кузьма опустил наготовленную землю на саван — первым. Отряд встал вокруг кургана, и мы начали насыпать землю слоями. Каждый человек подходил, брал горсть земли и кидал её на холм. Мы хоронили не просто человека. Мы хоронили часть себя, чтобы остаться целыми. Кузьма сыпал землю последним. Его лопатка скребла по глине, выравнивая вершину. Он не плакал. Он работал. Работа лечит лучше слов.

Когда курган вырос, я достал из сумки дубовый кол. Он был заострён, обработан топором, гладкий от пота рук. Я вбил его в вершину кургана. Удары были мощными, но аккуратными. Земля дрожила под ногами. Кол вошёл глубоко, крепко.

На кол я приколочил шведский офицерский шарф. Синий, с золотой бахромой, окровавленный и испачканный грязью гати. Трофей с тела стрелка, который убил Митроху. Шарф развевался на ветру, как знамя капитуляции. Как вызов.

Я отступил на шаг. Посмотрел на свои руки. Левая была сжата в кулак. Правая ныла под ремнём. Я поднял голову и заговорил. Голос мой звучал ровно, без надрыва, без пафоса. Так говорят, когда счёт ведётся на века.

— Одного, — сказал я. — Он взял одного и бумаги. Мы взяли его ватагу и его карту. Счёт открыт. Я его закрою.

Тишина повисла над холмом. Даже ветер стих, словно прислушиваясь.

Пряха, стоявший за моей спиной, положил руку мне на плечо. Тяжело. Крепко.

— Записано, — произнёс он одно слово. И это слово весило больше любого приказа.

Вечер опустился на лагерь. Костры дымили низко, к земле. Запах мокрой древесины и вареного мяса смешивался с запахом болота. Люди ели молча, передавая котелки из рук в руки. Федька сидел отдельно, уставившись в огонь, и крутил в пальцах обрывок верёвки. Кузьма лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в звёздное небо. Лопатка Митрохи была рядом, под боком.

Я сидел у подножия кургана, спиной к холму, лицом к лагерю. Береста на коленях. Уголёк в левой руке. Я не писал рапорт. Рапорт напишет Клоков. Я писал науку. Первую строку того, что переживёт нас всех.

«След ведёт дальше того, кто его оставил».

Буквы получались неровными. Правая рука тянула корпус вниз, мешала, ныла. Но левая работала уверенно. Я нажимал уголь сильнее, вплавляя слова в бересту. Это была инструкция. Инструкция для того, кто придёт после. Для Оськи. Для следующих мальчишек, которые будут учиться читать землю, а не карты генералов.

— Дядька Андрюша… — голос Оськи прервал тишину. Мальчонка стоял рядом, держа в руках пустую кружку. Он смотрел мимо меня, на запад. — Там светлеет.

Я поднял голову.

На горизонте, за чёрной полосой леса, небо меняло цвет. Сначала серый, потом оранжевый, потом багровый. Это не был рассвет. Рассвет будет через три часа. Это был пожар. Или приёмка. Шведские магазины принимали ночную муку, кормили армию Карла, готовили её к битве.

Зарево отражалось в глазах Кузьмы, который сел на своей лавке. Оно отражалось на лице Пряхи, который чистил клинок. Оно отражалось в зеркальной поверхности воды в реке.

Я закрыл бересту. Сложил вдвое. Убрал за пазуху.

— Спать до рассвета, — приказал я тихо. Отряд встал сам, в такт общему дыханию. Все поняли. Война не кончилась. Она просто сменила поле.

Я остался один у кургана. Смотрел на зарево. Карта магазинов лежала в подсумке. Я знал, где они. Я знал, сколько их. И я знал, что этот свет на горизонте — это не просто огонь. Это приглашение.

Пока — нет, подумал я, глядя на красный небосвод. Пока — нет. Но скоро.

И я уснул, впервые за много дней, без кошмаров о гати. Мне снилась мельница. И вода, текущая сквозь муку.

***

Туман висел над лагерем мокрой серой тряпкой, пахнущей навозом, кислой водой для ран и гарью от вчерашних костров. Я шёл к штабному шатру Клокова по утоптанной грязи. Каждый шаг отдавал в левый бок тупой ноющей болью. Правая ладонь болела глухо, обожжённым мясом: силового хвата не было, пальцы держали только слабое, а локоть и плечо слушались. Левая рука сжимала край берестяного свитка за пазухой. Там же лежала бумажная карта продовольственных магазинов шведов, снятая с трупа на гати.

У входа в шатёр стоял Кузьма Шумов. Он держал сапёрную лопатку Митрохи остриём вниз, упирая лезвие в землю. Лицо его было серым, глаза красными. Плакать после кургана означало бы сдаться. Мы молча переглянулись. Я кивнул ему, и он отошёл в сторону, оставив меня одного перед пологами.

Внутри пахло свежим воском печати и потом. Сержант Клоков сидел за столом, заваленным ведомостями. Его ладонь лежала поверх рапорта о гати, уже подписанного им, но взгляд он приковал к человеку, который сидел напротив него, расправив мундир так, чтобы ни одна складка не мешала говорить.

— Адъютант Вейль, — произнёс Клоков сухо, не поднимая глаз на меня. — Унтер Рябов прибыл.

Вейль даже не повернулся. Он полировал перо носовым платком, демонстрируя абсолютное презрение к тому, что происходило в этом шатре. Платок скользил по металлу с сухим шорохом, ритмичным, как тиканье часов, отсчитывающих время до моего провала.

— Проходите, капрал... простите, унтер, — наконец произнёс адъютант голосом ровным, без злобы, только уставная интонация, которая режет глубже сабли. — Армия ждёт ваших объяснений. Ибо то, что вы принесли вчера на разбор, больше похоже на сказку для детей, чем на военный доклад.

Я сделал шаг вперёд. Не садился. Стоять было проще: если сядешь, правая рука сама потянется к колену, и все увидят дрожь. Я положил левую руку на спинку стула, стабилизируя корпус, чувствуя холод дерева сквозь ткань рубахи.

— Я здесь не для сказок, господин адъютант, — сказал я тихо. — Я здесь для разбора цены.

— Цена высока, — перебил Вейль, кладя перо на стол с сухим канцелярским стуком. — Один убитый. Двое раненых. Потеря трофейных бумаг партии. И всё это ради клочка бумаги, который ваш человек стащил из сумы мертвеца. Штаб считает, что партия действовала самовольно. Результат — случайное стечение обстоятельств. Люди нужны регулярным ротам. Если мы оставим их вместе под командованием человека без патента на самостоятельные действия, мы создадим прецедент самовольщины. Я требую немедленного распределения бойцов по штатным подразделениям. Пусть каждый служит там, где его место по ведомости. Иначе завтра любой обозник решит, что он тоже может водить поиски, если принесёт карту.

Это был удар в самое больное место. Легитимность метода против буквы закона. Кровью Вейль не интересовался: он требовал порядка. Порядок убивает партизанщину мягче пули. Я почувствовал, как внутри всё сжалось в тугой узел, но лицо осталось неподвижным.

Из-за полога, расположенного в дальнем углу шатра, донёсся тяжёлый вздох. Головин поднимался. Поручик опирался на трость, его лицо было серым, глаза провалились, но взгляд оставался ясным и тяжёлым. Каждое движение давалось ему через боль, пробитое брюхо ещё не зажило до конца, но он шёл к столу медленно, уверенно, как идущий на свой первый марш офицер. Трость постукивала по полу, отбивая ритм его приближения.

Он остановился позади Вейля. Положил руку на спинку стула адъютанта. Пальцы Головина побелели на дереве, выдавая напряжение, скрытое за спокойствием позы.

— Адъютант, — произнёс Головин. Голос прозвучал хрипло, но твёрдо. — Вы говорите о ведомостях. Ведомость знает, сколько ртов кормить. Она не знает, куда эти рты идут ночью. Позвольте показать вам, кто ходил по этой дороге до нас.

Головин посмотрел на меня. Я понял сигнал. Не оправдывайся. Показывай работу.

Я достал из-под рубахи свернутую карту. Расстегнул подсумок левой рукой, вытащил три трофейные хлебные квитанции, изъятые у пленного возчика, и положил их рядом с картой. Карта легла поверх рапорта о расформировании. Картинка получилась красивая: чернильные линии дорог, точки складов и номера обозов парка номер семь. Я разгладил уголок карты ногтем, убирая складку, чтобы линии читались чётко.

— Это карта их хлеба, — произнёс я, глядя прямо на Вейля. — Без неё ваши регулярные отряды будут искать пустые амбары и стрелять по теням.

Вейль фыркнул, скосив глаза на карту. Он откинулся назад, стул скрипнул, выражая сомнение.

— Рисунок на бересте? Или украденный черновик? Мы видели твои сетки маяков, Рябов. Они красивы, но бесполезны против генеральной карты штаба. Слова мародера или ватажника не имеют веса в военном суде. Он соврёт всё, что скажут ему те, кто привёл его сюда.

— Пленный Тихон не мародёр, — ответил я ровно. — Он бывший драгун третьей роты, ныне ватажник Хьельма. Взят на гати, когда бросил оружие и полез в воду прятаться от огня. Он знает маршрут. Ум тут ни при чём: он носил муку на себе.

Я кивнул конвоирам, которые вели связанного пленного ватажника в круг света от лампы. Молодой дезертир спотыкался, когда увидел связку бумаг на столе и офицеров. Его взгляд бегал, останавливаясь на мне. Он, кажется, узнавал куртку, которую Федька носил поверх формы, — сам Федька стоял у входа, бледный, но живой. По тому, как его взгляд возвращался к бумагам и ко мне, я понял: он решил, что здесь судят не только Хьельма, но и его самого. Верёвки на запястьях Тихона были затянуты туго, оставляя синие полосы.

Тихон вдруг всхлипнул — от облегчения, что наконец можно сказать то, что давило изнутри три дня. Он упал на колени, путаясь в верёвках. Колени ударили в пол шатра.

— Не врать велели! — крикнул он по-русски, ломано, с присказками степных бродяг. — Врать нельзя было, когда шли. Там, на западе, где дым стоит... там не война. Там склад. Я таскал мешки. Тяжёлые. Мука. Русская мука, клеймо полковое видел! Её грузили на телеги. А потом... потом её жгли. Не шведы жгли. Свои жгли, чтобы следы убрать, когда русские дозоры близко подходили. А я видел огонь. Красный. Высокий. Ночью видно за десять вёрст. Они говорили: «Это маяк для своих». А я знал: это конец.

В шатре стихло всё, кроме голоса пленного. Пленный описывал механизм: логистика врага работает через уничтожение следов собственного снабжения, маскируясь под боевые пожары. Вражеская система встала передо мной изнутри, глазами того, кто её обслуживал и боялся её больше пушек. Я наблюдал, как Вейль замер, его рука с пером зависла в воздухе.

Я развернул карту магазинов шире. Под ней лежал рисунок, который Оська сделал углём на бересте: схематичное расположение костров на горизонте. Я показал этот рисунок пальцем, обводя контуры дыма.

— Зарево, которое мы видели с холма после похорон Митрохи, — сказал я, тыча пальцем левой руки в точку на карте. — Это приёмка. Они жгут лишнее, чтобы не отдать нам. И они ждут нас там. Потому что знают: мы придём за хлебом. Метод партии — читать потребности врага. Вейль хочет роспуска? Пусть распускает тех, кто не умеет читать дым.

Вейль открыл рот, чтобы ответить, но Головин перехватил его запястье своей рукой. Жест слабый, но решающий. Пальцы поручика сомкнулись на манжете адъютанта, останавливая поток слов.

— Адъютант Вейль прав в форме, — произнёс поручик, глядя прямо в глаза адъютанту. — Но ошибается в сути. Армия состоит из рот. Но война состоит из разведки. То, что сделал Рябов на гати, и то, что он читает сейчас по словам этого мальчишки, не является «самовольщиной». Это инструмент. Инструмент, которого у нас нет в регулярных частях. Распустить партию — значит выбросить глаз и оставить слепую голову. Я требую сохранить партию как отдельную единицу под командованием Рябова. Наградные подписать сегодня. Роспуск — отложить до моего личного решения после выздоровления.

Вейль молчал. Он смотрел на Головина, потом на пленного, который всё ещё стоял на коленях в грязи, и на меня, который ждал не шевелясь. Мне казалось, что адъютант понимает: спор проигран фактом, который стоил любых аргументов. Головин поставил свою репутацию командира на этот факт. Вейль медленно отвёл взгляд, его челюсть сжалась.

Клоков, до сих пор молчавший, подошёл к столу и взял печать. Ладонь его чуть дрогнула — он только что подписывался под решением, которое могло стоить ему поста, если Штаб армии не согласится с Головиным. Печать шлёпнулась на бумагу, оставляя красный оттиск.

— Разбор окончен, — сухо объявил сержант. — Партия временно остаётся в сборе. Пленный передаётся в лазарет под караул. Доклад о маршрутах муки — в секретную папку.

Я кланялся Головину — сдержанно, но глубоко. Поручик махнул рукой: «Иди учись писать свою науку». Эти слова остались в воздухе, как приказ. Наставление Митрохи теперь и память о друге, и служебный документ, который защищает партию от роспуска. Бумага переживает людей.

Выходя из шатра, я почувствовал холод утра. В голове крутилась фраза пленного: «Они жгут лишнее». Карта магазинов в сумке начинала жить новой жизнью. Теперь нужно было взять хлеб и понять логику сжигания. Это знание ложилось в основу подготовки к выходу на мельницу. Но сначала — люди. Новички уже были согнаны к лагерю. Требование Вейля «расписать по ротам» было отбито, но давление осталось: штаб будет смотреть за каждым шагом партии. Нужно быстро превратить случайных людей в тех, кто сможет читать дым так же, как я.

Солнце пробило мглу. Кузьма ждал у входа с лопаткой Митрохи. Мы снова молча переглянулись. Я передал ему ответственность за дисциплину новичков. Начинался сбор пополнения.

***

Костёр трещал так, будто в него бросили чьи-то позвонки. Я сидел на корточках и чувствовал, как влага пропитывает мою шинель через ткань, ледяными пальцами впиваясь в спину. Правая рука висела на перевязи и тянула плечо вниз, к земле. Левая держала бересту с первой строкой наставления. Уголёк пах гарью и чем-то живым, тёплым, что только что было Митрохой, а теперь стало серой строкой на бересте. Я провёл большим пальцем вдоль букв, проверяя, не смазал ли текст.

В лагере стояла тишина. Я сам чувствовал это ожидание — тяжёлое, натянутое, как перед выходом. Люди ждали. Ждали приказа, который изменит их жизнь, или смерти, которая просто закончит её. Но приказ уже был дан. Штаб прислал нам «пополнение». Восемь человек. Восемь судеб, завернутых в казённые тряпки, брошенных мне под ноги вместе с мокрым мусором после дождя. Поодаль, рядом со строем, стояли Гордей-кузнец и Селивёр-следопыт — давно принятые, старшие инструкторы при новом наборе.

Я поднял глаза. Пряха Силантий стоял у огня, скрестив руки на груди. Его лицо, изрезанное глубокими морщинами, напоминало старую карту, где вместо дорог были прописаны шрамы от сабельных ударов и следы обморожений. Он смотрел мимо новичков, на воду. На темную гладь заводни, примыкающей к лагерю. Вода была черной, неподвижной и страшной своей честностью. Она не врала. Она сразу показывала, кто здесь лишний балласт, а кто сможет выжить. Старик молча подбросил в костёр щепку, наблюдая, как она вспыхнет и погаснет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.